



Марина Ахмедова

Дом слепых

«АСТ»

2011

Ахмедова М. М.

Дом слепых / М. М. Ахмедова — «АСТ», 2011

В город приходит хаос. Жители бегут из него, пока хаос не захлестнул их и не стер с лица земли так же, как стирает дома, в которых они жили. Город пустеет... И хорошо, если ты видишь и знаешь, в каком направлении из него бежать. Но что делать горстке слепых, забытых посреди хаоса? Они спускаются в подвал дома, в котором жили в мирное время дружной коммуной... Казалось бы, они должны погибнуть в считанные дни, ведь даже зрячему сложно уцелеть в центре разыгрывающейся свистопляски – на город и днем и ночью сыплются боевые снаряды. Но слепые их не видят. Они не видят, во что хаос превратил их город. Они мастерят радио и каждый день оказываются на одной волне с теми, кто сбрасывает на них снаряды. С замиранием сердца ждут – перелет или недолет? Город молчит, опустевший, и им кажется, они – единственные живые существа в нем

© Ахмедова М. М., 2011

© АСТ, 2011

Содержание

Пролог	5
Конец ознакомительного фрагмента.	34

Марина Ахмедова

Дом слепых

Пролог

Бог сидел на крыше и смотрел на людей сквозь увеличительное стекло. Богу не было равных – никто до него не забирался так высоко. Делениями на линзе он измерял величину душ прохожих. Но не размер определял людскую судьбу, а то, что сидящий на крыше был богом.

Под ногтями бог носил траур. За много веков после сотворения человека он так и не понял, почему людям нравятся игры в солдатики.

Сквозь увеличительное стекло он смотрел с крыши и видел внутренности земли, глубоко распаханной в душах людей. Под ногтями бога копился прах тех, кому пришли на смену другие.

В мире бога не было случайностей – таким он его сотворил. Сотворил случайно – на седьмой день после начала хаоса. У бога были глаза цвета сотворенного им неба.

Люди ходили под богом. Скучное для него занятие – сидеть на крыше, выковыривать ржавым гвоздем из-под ногтей прах, щурить глаз, сужать зрачок и сводить указательный палец с большим. Человек сотворен по подобию бога...

Размер души не имел значения. Большая и круглая с крыши видней. В большую и круглую целиться легче. Такая большая и круглая часто уместалась в маленьком теле. Богу было все равно, в кого целиться. Дети и собаки не знают, что ходят под богом. Поэтому они превращались в прах под его крышей. Казалось, все зависело от случайности, но в системе бога не было ничего случайного.

Маленькая с зернышко – в большом теле. Сузилась от страха. Дрожит, если смотреть через линзу, спускается вниз к пяткам, а пятки мнут распаханную землю, спотыкаются о чужой прах. Зачем ты сюда пришла?.. Бог замирает, его скулы твердеют. Душу расстрелять не трудно – нужно только прицелиться. Размер с зернышко ее не спасет. Кто целится лучше бога? Крыша, на которой он сидит, самая высокая. Зерно в этом мире перевелось, засохло, а богу нужно кормить птиц, сотворенных до человека. Птицы клюют прах из-под его ногтей. Чем больше праха, тем лучше. Все подчинено системе. Бог и сам любил поиграть в солдатики.

Солдатики никогда не переведутся в этом мире – так он устроен. Богу не сложно отливать их из расплавленных ржавых гвоздей. Так же легко, как целиться в большую и круглую. Птицы железом не подавятся – они клюют душу. С крыши бог смеялся над теми, кто верил в ее бессмертие.

У бога были привязанности. Когда он о них вспоминал, идущие под богом уносили свои души туда, где бог их не видел. Даже через увеличительное стекло. Воспоминания приходили внезапно, не подчиняясь системе. Бог был над ними не властен. Размер действительно не имел значения.

Богу было что вспомнить – он давно сидел на крыше. Бог снимал затекший палец с курка и тер им глаза. Редкие слезы до земли не долетали. Слишком высоко он сидел. Глаза слезились от праха из-под ногтя. Сердце снайпера оставалось спокойным. Когда-нибудь он остановится. Но не сам. Он любил убивать. Почему бы не любить, раз сам Бог убивает? А от мысли быть Богом не откажешься.

Люда надавила на дверь и давила, пока та не поддалась.

– Опять кирпичом заложили, – подумала вслух.

В открывшуюся узкую щель Чернуха забежала первой. Придерживая поднятый подол передника, Люда еще подтолкнула дверь плечом, расширяя проход, в который собака только что шмыгнула легко.

В нос ударил запах гнилой капусты, перекисшей земли, мышей, ржавых водопроводных труб. И запах погреба, хотя в этом доме погреба отродясь не было. Ноздри щипнул тонкий дымок, Люда вдохнула его, выбирая из прочих подвальных запахов, подумала: лепешки жарят. Чернуха уже трусила на запах. Люда прикрыла за собой дверь и снова заложила ее кирпичом. Кроме самих жильцов, сюда никто не ходил, но с кирпичом спокойней.

В темноте прошла через два отсека к третьему – подвал был поделен на отсеки. Налетела ногой на трубу, торчащую из земли, наступила на кучу мусора, что-то хрустнуло под ее ботинком. Знать бы, что им придется провести в этом подвале столько времени, очистили бы его от мусора, сделали бы хоть как-то пригодным для жизни. Но кто мог знать, что в один прекрасный день им, жильцам этого дома, придется оставить свои квартиры и спуститься сюда – под землю. Впрочем, прекрасным тот день не был.

Люда подобрала выше край передника, прижала к животу, чувствуя теплый комок.

– Потерпите, – сказала она комку. – Сейчас мамка вас освободит и найдет место помягче. Обождите чуток.

В этом городе, где Люда родилась тридцать пять лет назад в первом городском роддоме, по-русски говорили мало. А по-ихнему Люда не научилась. Бабка ее давным-давно приехала сюда из-под Рязани, привезла с собой слепую Людину мать и те старые русские словечки, которыми до сих пор пользовалась Люда, – обожди, малость, поди. Поди и в Рязани так уже не говорили, но Люде негде было обновлять запас русских слов, она говорила теми, что взяла от бабки.

Чернуха плясала у печки – приседала на задние лапы, приподнимала зад, виляла хвостом, и так получалось, что в движение приходила вся ее задняя часть.

– Честное слово, эта собака лепешек больше меня съедает, – сказал Пахрудин, бросая Чернухе кусок своей лепешки.

И хотя он сидел в отдалении от печки, попал лепешкой точно в Чернуху. Она подхватила брошенный кусок и проглотила его целиком, снова завиляла задом и благодарно посмотрела на Пахрудина.

– Все, иди, – сказал тот, как будто мог ее видеть из-под толстых черных стекол очков.

Чернуха послушно отошла и легла в проход между двумя рядами железных кроватей.

Здесь, в отсеке, находилось десять человек. Жена Пахрудина – Валя – в таких же очках сидела у печки. Побарабанив пальцами по лепешке, лежащей на сковороде, она подула на них и перевернула лепешку. Ни одна из лепешек не подгорела. Все поджаренные, без черных опалин сгоревшего теста.

Люда почувствовала, как пустой желудок скукоживается в комок, а рот наполняется голодной слюной – в последний раз она ела вчера вечером. Уже несколько месяцев они питались одними лепешками – надоевшими лепешками. Запас муки почти весь вышел, а подниматься наверх было страшно. Но, видно, еще чуток – и придется.

– Возьми лепешку, – позвала ее Валентина.

Люда взяла самую верхнюю, горячую, подула на нее и пошла к своей кровати. Увидев в руках у хозяйки еду, Чернуха вскочила и снова завиляла задом, скуля на лепешку. Люда отломала кусок и бросила собаке. Чернуха, уже утолившая первый голод, зажала лепешку в передних лапах и принялась грызть ее, словно кость.

Люда вывалила ей под брюхо щенков. Они вцепились в ее обвислые сиськи.

– Вырастут, чем кормить будешь, а, Люда? – подал голос со своей кровати Нуник. Склонив седую тонкобородую голову, он прислушивался к визгу щенков. – Самим есть нечего...

Люда слышала слова Нуника, но ничего ему не ответила. Тяжело скрипнула кроватью. За месяцы, проведенные в подвале, она похудела, но двигалась грузно – не давали покоя тяжелые мысли о щенках, с тех самых пор, как Чернуха оценилась.

И ругала же ее Люда последними словами. Падла такая, гуляющая. Когда только успела? Люда припомнила, как раз или два отпускала Чернуху на водокачку. Сучка она и есть сучка. А ей теперь думать, чем щенков кормить, когда подрастут. Щенки растут скоро.

– У-у-у-у, – заукала Фатима в тот день, когда Люда принесла слепых щенков в общий отсек. – Брось их, пусть на улице сдохнут.

– Не сдохнут, – сказал Нуник. – У собак теперь еды больше, чем у людей.

Люда и тогда промолчала. Но все в ней потяжелело. Как будто камень лег сверху.

Запить лепешку было нечем, слюна смочила только первый кусок. На зубах скрипнул песок. Каждый день с верхних балок сыпались пыль и песок, они попадали в мешки с мукой.

Рука у нее не поднимется выбросить щенков. Люда посмотрела на свою правую руку, тяжело лежавшую на коленях. А может, выпустить их, когда подрастут, и пусть едят то, от чего жиреют все городские собаки?

«Бог дал, даст и чем прокормить», – нескладно подумала она, дожевывая последний кусок.

Сегодняшняя вода пахла бензином. Люда решила перетерпеть жажду до утра.

Фатима вернулась из соседнего отсека с бутылкой воды, сняла со спинки кровати молитвенный коврик и встряхнула его. Жест был понят без слов. Люда тяжело поднялась, тяжело наклонилась, собрала щенков в передник. Оторванные от сиськи, они заверещали.

– Чернуха, за мной!

– Одеяло возьми, – поднялась с кровати Марина, накинула ей на плечи отсыревшее одеяло.

Люда старалась не смотреть на Марину – ее худоба становилась зловещей. Марина и раньше была худосочной, но теперь на ее костях совсем не оставалось мяса. Еще чуток, думала Люда, и Марина рассыплется на сотни костей по полу подвала, а Чернуха будет глотать их.

До соседнего отсека, куда Люда вышла со щенками, доходил лишь дым печки. Было сыро и холодно. Люда села на кучу неизвестно сколько времени провалявшегося здесь тряпья. Мышей она не боялась – Чернуха давно поела в подвале всех крыс и мышей, от них остался только запах и кучки помета. Прижала к животу щенков. Чернуха растянулась рядом, выставив в сторону первого отсека любопытное ухо.

Пока Фатима клала сырому полу поклоны, прикрыв слабо видящие глаза, перебирая пальцами четки и монотонно бормоча слова на арабском, Люда дрожала под одеялом и думала о боге, который не принимает молитву, произнесенную рядом с собакой. Разве не бог сотворил собаку? Чего же он теперь от нее нос воротит? Люда не пыталась ответить на этот вопрос. То были просто мысли от нечего делать. Она и верила-то в другого бога. Считала, что люди сами обставляют свою молитву разными условиями и запретами, сами придумывают, кто чист, а кто нет, бог тут ни при чем. Она не говорила об этом вслух, не спорила с Фатимой, когда та садилась на намаз, просто молча выводила Чернуху «на другую половину».

Она провела рукой по жесткой шерсти Чернухи, та, довольная, засопела.

– Сучка ты такая... – ласково пожурела ее Люда.

Чернуха заурчала – похожие звуки издавали их вечно пустые желудки. На улице для собак был пир. Что верно, то верно – все дворовые собаки теперь пировали. Но Чернуха не уходила, хотя путь через вентиляционные отверстия был свободен. Да и людей здесь ничто не держало, кроме их собственных страхов, приходящих снаружи. Они понимали – подвал не сможет прятать их вечно, и мысль об этом тоже вселяла страх. Но пока он все еще их хранил, казался им самым безопасным островком в этом разрушенном городе. Подземным островком.

Люда обвела взглядом черные стены. На улице был день, и его тусклый свет пробивался сквозь вентиляционное отверстие. Его не хватало на то, чтобы осветить весь отсек, он лишь бросал пятно света на пол. Спускаясь в подвал, жильцы дома не захватили с собой ни фонаря, ни керосиновой лампы. Не забыли их, нет. Свет им был не нужен, все равно они бы его не увидели. Как не увидели бы, во что превратился их двор и что случилось с самим домом... Впрочем, не видели они и того совершенно непригодного для жизни места, в котором провели уже несколько сырых и голодных месяцев.

Люде казалось, слепым здесь легче, чем зрячим. Слепые не видели ржавых труб, сочившихся гнилыми каплями, плесени на стенах и куч затхлого мусора. А Люда, словно крот, так долго жила в темноте, что порой ей казалось: глаза больше не нужны. Легче прикрыть их и перестать видеть.

Чернуха вскочила – по каким-то своим собачьим приметам она всегда узнавала, что молитва закончена и можно возвращаться в тепло.

– Успела... – обратился Нуник к Фатиме.

Припадая на одну ногу, он прошелся между кроватями.

– Успеть-то успела, – из глубины подвала раздался мягкий картавый голос Уайза. – Только чувствую, сейчас все равно нач-нет-ся.

«Начнется», – сказал Уайз, и подвал притих. Этим словом они заменяли другое – истинно определяющее суть того, что, по словам Уайза, должно было вот-вот произойти. Они боялись этого слова, их охватывал ужас перед тем, что оно обозначало.

– Опять чувствуешь, Уайз? – спросила Марина.

– Чув-ству-ю, – согласился тот.

Люда посмотрела в его сторону. Уайз лежал на кровати и в темноте казался большим мягким тюком.

– И я тоже... – поддержал предчувствия Уайза Нуник.

Раз Нуник тоже чувствует, значит, рано выкладывать щенков из передника, подумала Люда. Присела на край кровати. Поскорее бы. Чем быстрее начнется, тем быстрее закончится. Какая-то струна, вертикально натянутая в ней, застыла в напряжении. Люде, как обычно бывало перед началом, захотелось бросить все и бежать. Но бежать было некуда. Пусть наступит конец, думала она, конец не так страшен, как растянутое ожидание начала, когда сидишь на краю, копчик немеет, а струна вертикально режет органы.

Чернуха спряталась под кроватью и заскулила. Сомнений не оставалось – скоро начнется.

– Чернуха, замолчи! – прикрикнул Нуник. – И без твоего воя тошно...

Он негромко долбил землю тростью. Чернуха замолчала. Подвал молчал вместе с ней. Люда заставляла себя отвлечься, для этого нужно было вспомнить что-нибудь из прошлой жизни. Она вспомнила библиотеку – та находилась прямо над ними, на первом этаже дома. Год назад они с Мариной наново выбелили стены, развесили на них репродукции, вырезанные из «Огонька». Их когда-то собирала Люда. В библиотеку она отнесла лишние – на стенах в ее собственной квартире для них не оставалось места.

Репродукции Люда называла «картинами». Среди них были Репин, Шишкин и Ван Гог. Ван Гога Люда любила больше всего. «Огонек» лишь раз напечатал репродукцию его «Подсолнухов». До чего же хороши они были – столько солнечного света на одном бумажном листе. Надо было захватить их сюда, в подвал, освещали бы пятак, занятый ее кроватью. Но кто тогда знал, что они здесь задержатся.

Был у Люды и Пикассо. К нему она относилась предвзято – завесила им потек на стене в туалете.

– Шут с тобой, – сказала она тогда, обращаясь к самому художнику.

Шута ее бабушка поминала чаще, чем бога. Бабушка умерла, а шут все еще жил. От бабушки Люде достались многие привычки – хорошее и плохое «наследство». Как и та, Люда раздавала шутов направо и налево. Чернухе перепало больше всего.

Стук трости Нуника перерос в отдаленный гул, похожий на рев огромного зверя. Зверь приближался, ступая огромными лапами. Стены дома дрожали. Струна в Люде немного ослабла – наконец-то началось. Чернуха мокро ткнулась ей в щиколотку, заскулила. Нуник смолчал. Долбануло где-то на окраине. Дом вздрогнул.

– Началось, – прошептала Валя.

Застонала разбуженная Дуся. Она спала целыми днями – сырость усыпляла. Дочь Роза взяла ее за руку, сохнувшую под двумя одеялами. Еще в прошлом году – жилистая и сильная – Дуся каждый вечер выходила во двор стирать белье у кранта, часами терла его хозяйственным мылом, полоскала под холодной струей, гортанно напевая. Дуся не уходила со двора, пока не был стерт кусок мыла, пока день не обмыливался в вечер. Все думали, ее убьет холодная вода, но теперь Дусю одолевал подвал, воды в котором не было ни капли.

Чернуха взяла ноту выше.

– Что там гудит, дочка? – Дуся вытаращилась в лицо дочери.

– Это началось, мама... Надо подождать, скоро закончится...

Пахрудин достал из-под кровати черный металлический ящик. Покрутил на нем ручки, потыкал кнопки. Ящик зашипел, заквакал и, наконец, начал выдавать обрывки фраз, сказанных далекими голосами.

– Семь один восемь, семь один... идет снег... на короткой волне... а фикусы надо пересадить... – доносился из ящика разноречивых голосов.

Пахрудин продолжил крутить.

– Конец связи... температура выше нуля... фикусы следует опрыскивать не реже... шшшшшш... шшшшшш...

Чернуха ошетибилась – так и не привыкла к ящику.

– Нашел!.. – выкрикнул Пахрудин, когда радиоволна выбросила твердые голоса.

– Сокол, Сокол, я – Резеда, я – Резеда... шшшшшшшшшш...

Шипение стерло голоса, и Пахрудин, глядя в никуда своими темными очками, снова взялся за ручки и кнопки.

Бухнуло совсем близко. Подвал трянуло. С верхних балок посыпалась пыль. Щенки в подоле закопошились.

– Дочка, что это? А? – спрашивала Дуся, снова впадая в беспамятство, и Люда пожалела, что и она вот так же не может забыться в смертельной болезни.

– Недолет... – вдруг отчетливо сказал черный ящик. – Я – Резеда. Недолет. Я – Резеда.

Пахрудин стукнул ладонью по ящику и хохотнул. Из-за шума этот хохоток добрался только до его жены, сидящей рядом.

– Что смеешься? – толкнула она его в бок.

– Они не знают, что мы их слышим, – Пахрудин ударил себя по коленкам, снял с головы тюбетейку и прикрыл ею разинутый рот. – Они там летают, а мы их тут слышим, – давился он.

Больше никто не смеялся. Люди тут, в подвале, слышали тех, кто проносился сейчас над ними. А те, кто над ними, об этом не знали... Что ж тут смешного? Чернуха завывала сильнее, и, несмотря на грохот, из воя отчетливо проступили тоска и жалоба. Пахрудин вскочил и запихнул ящик обратно под кровать. Наклонившись, он крутил задом – так же это делала Чернуха, выпрашивая еду.

– Астахфируллах... – Фатима уставилась на зад Пахрудина – один ее глаз сохранил остаточное зрение.

Ящик продолжал шипеть, выплевывать резеду. Пахрудин взвизгнул.

– Эй, Валентина, что с твоим мужем? – спросила Фатима, качая головой. – Он с ума сошел? Вай, нельзя же так... Клянусь Аллахом, там... наверху и то его слышно.

Пахрудин икнул, вернулся на кровать, притих.

– Нуник, сыграй, – попросила Марина.

– Там такое началось, а я вам играй... – отозвался Нуник.

– Умирать так с музыкой, – зарыдал петушиным голосом Пахрудин.

– Голову прикрой, и рот тоже, – оборвала его Валентина.

Беспричинный смех – не к добру, считала она. Смех продлевает жизнь, если он ко времени. А для смеха отведено четкое время суток. Нельзя, например, смеяться на ночь – утром будешь плакать. Если плакал во сне, то, пожалуйста, смейся днем – плач предвещает радость. Но ни в коем случае нельзя смеяться, когда начинается – мало ли чем может закончиться... Эту приметку Валя изобрела сама – здесь, в подвале. Она была уверена: Пахрудинов смех мог накликал беду на весь подвал. Нельзя так смеяться. Нельзя.

– Сыграй, Нуник, – картаво попросил Уайз.

Нуник полез под кровать за аккордеоном. Старый инструмент вздохнул тяжело, как старик, когда Нуник растянул меха.

– Что сыграть? – спросил Нуник.

– Что хочешь...

– Я от страха все мелодии позабыл, – вздохнул он так же тяжело, как его инструмент.

Сверху еще успело бухнуть, черный ящик выдал «перелет», и белые пальцы Нуника заходили по западающим клавишам.

Аккордеон зашумел, пропуская воздух. Нуник играл, прислонившись к бетонной стене и прикрыв глаза, никогда не видевшие белого света. Наверху свистело и бухало, земля дрожала, с потолка сыпалась пыль, черный ящик шипел, стонала Дуся, щенки тихонько повизгивали, кровати беспокойно скрипели сетками, и над всем этим поднималась вздыхающая мелодия, какой жильцы этого подвала еще никогда не слышали. Аккордеон задыхался и плакал, но не так, как плачет скрипка в руках профессионала. Плакал по-настоящему, как будто в него забрался дух этого дома и оплакивал свою судьбу, предчувствовал свой скорый конец.

Дом построили тридцать лет назад. Построили на совесть и заселили слепыми. Что скрывать – он был домом слепых. Жильцы любили его, как живого, как любят близкого человека. Их ноги знали каждый камушек во дворе, ладони – каждую выемку на стенах. Теперь дом умирал, хотя мог бы еще стоять и стоять. Вместе с ним умирали жильцы, запертые в подвале. Дом пел свою предсмертную песню, и она эхом отдавалась в груди слушающих.

– Что это было? – спросила Марина, когда инструмент замолчал.

– Не знаю, – устало отозвался Нуник, не открывая глаз, казалось, игра забрала у него последние силы. – Только что мелодия сама пришла.

– Ты сможешь ее повторить?

– Нет, не смогу, – ответил он и спрятал инструмент под кровать.

– Сейчас кончится... – сказал Уайз.

И через несколько минут все действительно кончилось.

Ночь еще не наступила, лишь вечер подступал. Сон не шел. Да и лучше сейчас не спать, чтобы не проснуться посреди ночи и не лежать с открытыми глазами, глядя в черноту бетонных плит над головой. Надо найти себе какое-нибудь занятие, подумать о чем-нибудь важном.

Когда запас муки выйдет, нужно будет подняться наверх – в квартиры. Это сделает она – Люда – вместе с Мариной, бывшим директором библиотеки для незрячих. Бывшим потому, что библиотеки больше нет, осталась только горстка читателей, которым теперь не до книг. Они жгут книги в печке – бесценные экземпляры, написанные по методу Брайля.

Люда припомнила высокие, до самого потолка, стеллажи с книгами, на страницах которых выбиты знаки, уводящие чувствительные пальцы слепых в другой мир, наполненный незнакомыми героями и ощущениями. Вспомнила, как им хорошо жилось до начала всего этого. Проблем у тридцатипятилетней Люды и тогда было хоть ложкой черпай, только разве то были проблемы по сравнению с теперешними... Люда повернулась на другой бок. На другом боку пришли тяжелые мысли о муже.

– Ох, не могу, – скрипнув сеткой, Люда села на кровати. – Марина, – позвала она. – Спишь?

– Нет... – откликнулась та.

– Когда наверх-то соберемся?

– Скоро. У нас муки еще на несколько дней.

– А у меня там в холодильнике «Рама»... – у Люды засосало в желудке.

– Рама для твоих репродукций?

– «Рама» – маргарин, – засмеялась Люда, в смехе забывая о муже.

За вентиляционным отверстием – середина зимы. Несколько месяцев назад они еще могли выехать из города – он был открыт. Многие жители бежали из него в конце лета, остались только больные, старики и те, кому податься было некуда. Они спрятались в подвалах и надеялись на чудо, которое (на то оно и чудо) не спешило постучаться в заложенные кирпичами двери.

В один из душных дней начала сентября, когда город еще был открыт, а в подвалах обитали только крысы, во двор дома слепых въехал автобус и заговорил мужским зычным голосом, усиленным мегафоном:

– Внимание! – раскатился голос по двору, поднялся до распахнутых окон верхних этажей. – Жители дома, слушайте: завтра за вами придет автобус и вывезет вас в безопасное место!

Автобус уехал, а голос остался – его эхо еще летало по двору, а слепые, высыпавшие из квартир, до самого вечера повторяли сказанные им слова.

– Завтра?

– Завтра!

– Завтра...

На следующий день ранним утром, только солнце успело прорезать лучами спросонья хмурое небо, из подъездов показались жильцы, нагруженные тюками и сумками. Еще птицы не проснулись, а они уже готовились к отъезду, боясь пропустить появление автобуса. Чем выше поднималось солнце, тем больше оно, словно снежный ком, собирало на свои бока страхи, надежды, просьбы, устремленные из города к небу. Ночью прошел дождь, все рытвины и неровности, а их во дворе было немало, заполнились водой. Слепые мяти влажную землю ногами, молились. Куда их повезут? Где их ждут? Где им будет так же хорошо, как в этом доме? Только Марину ждали в соседнем мирном городке, из которого она была родом. Но и Марина не могла уехать, прежде чем придет автобус и решит судьбу слепых, сняв с нее самой эту обузу. Люда не знала, куда податься. Ее род заканчивался здесь – в этом городе, в этом дворе, на той скамье, где она сейчас сидела. Вместе с Чернухой Люда собиралась туда, куда глаза поглядят.

Тогда еще крант работал, и Чернуха глотала воду из его забранного бетоном корыта. Птицы проснулись и тревожно кричали, клиньями покидая город. То ли осень их гнала отсюда, то ли предчувствие беды.

Слепые мысленно прощались с домом, говоря ему «до свидания» и обещая вернуться. А дом обещал им выжить, достоять до их возвращения.

Солнце было уже в зените. Беспокойство щекотало нервы. Тревога палила страшной мыслью – их тут бросили, автобус не придет. По дороге за домом проходили легковые машины и

бронетехника, сотрясающая землю. Слепые чутко вслушивались, надеясь выбрать из общего гама звук подъезжающего автобуса.

Пошел дождь – мелко закрапал по поникшим головам. Капли набирали вес, долбили темя и плечи, стекали с бровей и ресниц, но не смывали с лиц тревогу, только клали на них новые мазки безысходности. Уайз выкручивал пухлые пальцы, изнемогал. От дождя не прятались, по-прежнему отдаваясь мучительному тягучему ожиданию здесь, во дворе.

Наконец, в небе появилась радуга. Обычно радостная, в тот день она давила на плечи слепых пудовым коромыслом. Ждали.

Солнце покатилося к краю земли, от которой после дождя поднималась испарина. А они все ждали. Солнце брызнуло последними лучами. Подкралась серость, тенью прошлась по лицам слепых. Осмелела и сгустилась в бархатную темь вокруг людей, пристально глядящих темными очками куда-то в одном направлении. Пробежал ветерок, и пахнуло сыростью. Прохлада спускалась с близких гор. Плечи поникли.

– Чувствую, они не приедут... – негромко проговорил Уайз, робея перед сбывшимся предчувствием.

– Я остаюсь, – объявила Марина.

Чернуха завывала.

Молча, взяв в обе руки чемоданы, Люда пошла к подъезду. Слепые загалдели стайкой перепуганных птиц. Больше ходу из города не было. На пути, словно непроходимые кручи, вставали бесчисленные блокпосты. Еще совсем недавно мирный город теперь таил опасность за каждым углом, за каждым поворотом.

Люда вошла в подъезд, поднялась по лестнице на третий этаж, отперла дверь и снова оказалась в квартире, с которой утром навсегда распрощалась. На стенах спокойно висели репродукции. «Подсолнухи» желтели теплом. Теперь, когда она вернулась сюда против воли, собственная квартира казалась тонкой скорлупой, отделяющей ее от враждебного мира, в котором вот-вот должно было что-то начаться. Сегодня? Завтра? Послезавтра? Когда?

Люда плотно задернула окно шторой, чтобы случайный взгляд, упавший на него, не напомнил о начавшемся в городе светопреставлении. Уснула, не раздеваясь, не расстелив постель. Ночью тонула в поту. Чернуха несколько раз просыпалась и выла на ночь. Во сне Люду преследовала опасность, собирающаяся за окном. Опустевший, умирающий город нашептывал ей свои страхи, корчился в безысходности. Люда вздрагивала от малейшего шороха.

Это началось под утро. Рассыпавшись, зазвенело стекло. Люда проснулась. Ее бархатную штору прошивали огненные точки, многоглазо смотрящие из темноты. Люда завывала, и Чернуха ее поддерживала оглушительным визгом, на миг перекрывшим все остальные звуки. А снаружи свистело и рушилось. Стены дома задрожали, будто и он сорвался с места и бросился из города наутек.

– Чернуха!

Люда скатилась с кровати и на четвереньках уползла из комнаты. Оглянувшись – по стенам бежали огоньки, проедавая репродукции.

– Чернуха! – выла она, хотя собака уже бежала впереди нее.

В подъезде слепые резво и прытко спускались по лестнице. Бежали быстрее Чернухи, словно видели ступени под ногами. В тусклом свете лампочки на стенах искажались их тени. Дом отплясывал дикую пляску, похожую на ламбаду, которую в лучшие времена Пахрудин танцевал во дворе под аккордеон Нуника.

На первом этаже Марина кирпичом сбила замок с подвальной двери. Цокнув, он упал на цементный пол. Дернула дверь. Истерично визжа, Чернуха, не дожидаясь хозяйки, пулей влетела в открывшийся проход.

– Вот сучка! – крикнула ей вслед Люда.

Валя и Пахрудин, спотыкаясь, бросились внутрь. Фатима, расставив руки, загородила собою проем.

– О Аллах! О Аллах! – поднимала она голову вверх, с потолка на нее сыпалась пыль.

Люда навалилась на Фатиму и втокнула ее в подвал, но не успела втиснуться сама – под ногами шмыгнула обезумевшая Чернуха.

– Чернуха!

Ступеньки вверх.

Небо сверкало, исполованное красными вспышками. Бухало со всех сторон. Люда озиралась по сторонам. Из соседнего подъезда показались скрюченные тени. Они бежали на голос Марины и скатывались в подвал. Их было немного. В пухлом силуэте Люда узнала Уайза. Последней в подвал проскользнула Галя – юркой мышью с бельмом на глазу.

Небо разорвало вспышкой. Чернуха залаяла на приближавшуюся по небу точку. Точка ухнула за домом. Люда упала на землю, ее отяжелевший слух выхватил из всеобщей свистопляски собачий лай.

– Чернуха!!! – напряглись голосовые связки.

Влажное дыхание у лица.

Обняла собаку. Отпустила. Завыла и, сложившись вдвое, затрусила в подвал.

Фатима в длинных панталонах и комбинации сидела на водопроводной трубе, с которой на ее голые ноги капала ржавая муть.

– О Аллах, – причитала она, – что творится! Ужас, что творится! О Аллах, почему это творится? О Аллах, за что это творится?

Слепые разбились на группки, оккупировав кучи тряпья.

– Я чувствовал, – сбивчиво тараторил Уайз. – Всю ночь не спал. Чувствовал, что-то случится, и вот началось. Так я и знал.

– Проведем переключку! – Марина говорила со слепыми строго, как с детьми.

– Вай, какая отважная женщина... – прошептала в ее адрес Фатима.

– Уайз?

– Присутствую...

– Галя?

– Здесь.

– Валя?

– Здесь.

– Дуся?

– Здесь.

– Роза, Фатима, Нуник, Пахрудин, Люда... Все на месте...

Трое зрячих и семеро слепых.

Остаток ночи был холодным. Жильцы дома, загнанные в подвал, тряслись от страха и нервного возбуждения.

Под утро город затих.

– Сегодня больше не начнется, – промямлил Уайз, засыпая, как есть, на полу.

Именно тогда они подхватили это слово «начнется» и уже всегда использовали его для обозначения тех моментов, когда в городе начинался обстрел.

– Сегодня за нами приедут, – успокоила всех Марина.

Днем они поднялись в квартиры и спустили в подвал самое необходимое – кровати, одеяла, одежду, печку, книги для растопки и запас еды. Никакая сила не заставила бы их остаться наверху.

Автобус в тот день не пришел. Его по очереди караулили у подъезда, но он не пришел ни на следующий день, ни в день, следующий после. И тогда жильцы дома поняли – они остались один на один с умирающим городом. Автобус не придет.

Пребывание под землей затянулось. За вентиляционным отверстием начались проливные дожди, опали листья, их запорошила посыпавшаяся с неба мелкая крошка. Из ртов обитателей подземелья повалил пар. Холод вползал в вентиляционные отверстия, отделялся от застывших бетонных стен, замораживал все вокруг, особенно по ночам, – и людей, и их дыхание, и лепешки, и воду, за которой изредка выходили в город Нуник с Пахрудином. Крант уже не работал.

В первые дни их подземного заточения Марина поднялась в свою квартиру, нашла банку с белой краской, и пока Фатима на все лады перевозносила ее смелость и отвагу, не забывая призывать в свидетели самого Аллаха, вышла на улицу и подписала каждый угол дома – «Дом слепых». Теперь-то, надеялись они, дом оставят в покое – не станут терзать инвалидов. Но уже через день ка-а-ак началось...

Мечтая о лепешке с «Рамой», Люда повернулась на другой бок и снова подумала о муже. А с него, понятное дело, переключилась на Чернуху, с той – на щенков. Тяжело лежать под одеялом, отсыревшим от слез и обид. Лучше б ее придавило бетонной плитой...

Чем занять себя, лежа вот так без дела в темноте? Бесцельное, затрудненное существование последних месяцев сильно состарило Люду. Истощение, холод и страх коснулись всех обитателей подвала.

– Уайз, – позвала она. – Что там дальше было с Энием?

– Пр-родолжение напр-рашивается, – картавя, передразнил Пахрудин.

Уайз присел на кровати, подложив под спину подушку, и никто не увидел, как на его пухлом с мягкими чертами лице появилась улыбка. Распухшими пальцами он потрогал нижнюю губу, как будто проверял, на месте ли она.

Он ослеп, когда ему было два года. Теперь старался вспомнить виденный в детстве свет, подолгу тер глаза, но воспоминание не приходило. Глаза Уайза убили красные пупырышки, рассыпавшиеся по всему телу, – корь. Потница, подумала восемнадцатилетняя мать Уайза и на загорбке принесла сына в поле. Оставила его лежать в высокой траве, в которой он спекшимися от жара пальцами ловил насекомых. Солнце гладило его по слипшимся на темени волосам. В его глазах стоял свет. Уайз помнит, как его двухлетнее сердце жужжало пчелой. Мать резала колосья пшеницы. Кусались мошки. Когда Уайз устал смотреть на свет, которого теперь не помнит, его глаза сами по себе закрылись. А когда снова открылись, то он уже ничего не видел – ослеп навсегда. И теперь Уайз силился вспомнить, как выглядело то солнце, выевшее его глаза. Силился, но не мог. А выражение лица осталось прежним – таким же мягким и детским, каким, наверное, было тогда, когда он в последний раз видел свет.

– Мама, – позвала Роза, – просыпайся, Уайз будет рассказывать.

– Когда солнце окончательно погасло и над землей нависла вечная ночь, глядящая вниз одним желтым глазом луны, Гермийон отправился за десятым ребенком, – важно начал Уайз.

Все приготовились слушать.

Когда солнце окончательно погасло и над землей нависла вечная ночь, глядящая вниз одним желтым глазом луны, Гермийон отправился за десятым ребенком.

Белокурый мальчик спал на кровати, разметавшись, сбросив с себя одеяло, хотя солнце погасло и на земле наступал холод. Но мальчику снились жаркие сны о том времени, которое когда-нибудь для него наступит.

Когда Гермийон предстал перед ним и легко коснулся его плеча, мальчик проснулся и открыл прозрачные голубые глаза, похожие на глубокие озера. Озера такие чистые, будто в них никогда не попадал ни бензин, ни грязные стоки. Но мальчик не увидел Гермийона – мальчик был слеп.

– Кто здесь? – тихо спросил он, проснувшись – из жаркого сна перекинувшись в холодную ночь.

– Меня зовут Гермийон, – ответил мужчина. – Я пришел, чтобы забрать тебя на другую планету. Там ты увидишь солнце, которое светило тебе в снах.

– Но я не смогу увидеть солнца, – отозвался мальчик, – я слеп и не увижу света, даже если разом будут светить десять солнц.

– На другой планете ты поймешь, что это не так, – проговорил мужчина. – Я прилетел с той планеты – меня послали за тобой.

– Но разве кто-то на другой планете знает обо мне? – удивился мальчик. – Даже здесь я никому не нужен...

– Ваше солнце начало угасать еще пятьдесят лет назад, когда на земле прошли самые кровавые войны, – сказал Гермийон. – Люди сами не замечали, как слепли, переставали видеть на далекое расстояние, поэтому и тебя никто не заметил. Теперь, когда солнце совсем погасло, людям остается только ослепнуть окончательно, и скоро это случится. На той планете, куда тебя зову я, светят два солнца, и они никогда не погаснут. Ее жители знают тебя из твоих снов. Такие жаркие, они снились тебе и другим незрячим от рождения детям. Вас набралось десять человек, и я был послан за вами. Нам нужно спешить, Эний, – Гермийон протянул мальчику руку.

– Но что же будет с другими? – спросил Эний, нащупывая большую и теплую руку Гермийона.

– Им придется ответить за свою слепоту, – сказал тот, ведя мальчика к выходу из темной комнаты, в которой на кроватях глубоким сном спали незрячие дети. – Они замерзнут или уйдут под землю, где их еще недолго будет согревать ядро земли. Глаза им больше не пригодятся...

Выйдя в холодную ночь, Эний вспомнил о луне.

– Но разве луна не освещает все вокруг по ночам? – спросил мальчик.

– Ночь хитра, скоро она захлопнет свой желтый глаз, – коротко сказал Гермийон.

Они пошли дальше, в глубину ночи, которой теперь не было ни начала, ни конца. Босыми ногами Эний чувствовал ее холодную твердь. Он бежал вприпрыжку, чтобы поспеть за размашистыми шагами Гермийона.

– Я больше не слышу птиц, – пожаловался он.

– Птицы заблудились в ночи, ищут день, не находят его, падают обессиленные на землю и замерзают. Скоро здесь птиц совсем не останется. Один только человек способен жить в темноте. Он и подземные твари. Уйдя под землю, человек будет ими питаться. На Земле не останется ничего живого...

«Прощай, Земля, – думал Эний. – На другой планете я буду по тебе скучать. Где бы я ни оказался, я буду помнить о тебе».

Они вышли на асфальтированную трассу, которая спала, не реагируя ни на свет фар, ни на шорох шин. Еще недавно по ней с шумом проносились сотни машин, возникали пробки, и трасса посмеивалась над томящимися в заторе водителями. Солнце начало гаснуть, и машин становилось меньше. Люди предпочитали не передвигаться на далекие расстояния – кто знает, что их ждет в темноте. Привычное выступало из темноты лишь неясными очертаниями, тускло позолоченными луной, и казалось чем-то новым, страшным, неизведанным. Видя знакомые дома, дороги и предметы только во тьме, люди смутно тревожились.

Гермийон и Эний пересекли трассу. Эний спотыкался на ровном асфальте. Они зашли в лесополосу на краю дороги, двинулись вглубь. Их окружили деревья. При хорошей погоде интернатовцы гуляли в этом лесу. Эний чувствовал – лес изменился, словно деревья, населенные добрыми духами, сменили своих обитателей, наполнились чем-то страшным и злым. И это злое теперь тянуло к их лицам холодные ветки.

– Мне страшно, – проговорил Эний.

– Это из-за луны, – ответил Гермийон. – Она вселяет в людей тревогу.

Луна застыла в ночи полная, неприкрытая тенью, съедающей ее половинку. Не мигая, луна смотрела на землю, на тени, отбрасываемые в ее свете домами и деревьями. Она смеялась, когда они становились причудливой, а живые существа, погружившиеся в вечную ночь, тревожно улавливали ее беззвучный смех.

Луна глядела сверху на мужчину и мальчика, шагающих сквозь частые стволы деревьев. Она могла лучом отрезать тесно прижавшихся друг к другу людей. Могла рассмеяться неслышно, но громовым хохотом над их страхом.

Они вышли на поляну – такую же круглую, как лунный глаз. Едва они ступили на ее жухлую траву, по поляне задвигались тени – девять темных фигурок вошли в ее центр. Луна бросилась в них лучом. Не будь Эний слеп, то увидел бы – все дети похожи, словно братья-близнецы. Светловолосые, с широко распахнутыми голубыми глазами.

– Где мы? – спросил Эний.

– В центре Земли, – ответил Гермийон. – Прямо под нашей планетой.

– Разве у Земли есть центр? Она круглая...

– Под нашими ногами – остывающее ядро Земли. Над нашими головами – горячее ядро моей планеты. Мы разбудим ядра планет голосами, они потянутся друг к другу, между ними появится дорожка, по которой мы уйдем вверх.

– И тогда ядро Земли оживет? – спросил Эний.

– Нет, мальчик, – ответил Гермийон. – До нашей планеты слишком далеко, она не сможет согреть вашу. Но они услышат друг друга.

Гермийон и дети встали в круг в центре поляны.

– Голосите! – приказал Гермийон. – А-а-а-а! – закричал он первым, и луна захохотала.

– А-а-а-а! – заголосили дети.

Они голосили, щупая стопами землю, но кроме холода не ощущали ничего.

Вдруг Эний почувствовал, как у него в груди натянулась струна, проходящая прямо через сердце. Она загудела сотней колоколов, сливаясь с колоколами, гудящими в груди остальных. Их гул слился в самом центре поляны, сплелся в один, завихрился и распался на сотни эхо, а те – на тысячу других, удлиняя и расширяя голосащую дорожку, поднявшуюся от поляны. Луна примолкла, выпучила удивленный глаз. Земля сжалась в комок, как сжимается сердце в предчувствии, и тихо вздрогнула под ногами одиннадцати.

Земля легонько задвигалась, и они чувствовали, как она теплеет, пробуждается, заговаривая из глубины птичьими голосами. Щебет нарастал, плескался в ушах Эния, накручивался на голосащую спираль, усиливался, удлинялся гулом и уходил вверх, так высоко, что поднялся выше луны, и она икнула, удивленная. Отбросила тень от людей, собравшихся в круг, вытянула ее в овал, давая понять Земле, что люди – несовершенны, как несовершенен овал по сравнению с кругом. Но ядро Земли уже пело.

Ноги Эния оторвались от земли. Под ними осталось теплое и мягкое. И Эний пытался понять, что оно ему напоминает. Материнскую ладонь с мягким бугорком Венеры под большим пальцем? Матери Эний не знал от рождения. Ладонь подтолкнула его вверх – лети! Струна дрогнула, и Эний закричал: «Мама!» Первый раз в жизни он произнес это слово вслух, а не про себя. Он слышал, как и другие кричат, призывая мать, но ладонь их уже отпустила, и они понеслись по спирали на страшной скорости головами вверх. Луна моргнула, когда они пролетали мимо нее, и на эту секунду Земля, стряхнув с себя тени, погрузилась в полную беспроглядную тьму.

– Скажи, Уайз, луна, небось, смеялась и икала, точно как наш Пахрудин? – захохотала Люда, когда Уайз замолчал.

– Э-э-э, – протянул из темноты Пахрудин, – если я смеялся, значит, повод у меня был. А что, посмеяться нельзя? Смеяться не грех, плакать – грех.

– Уайз, что замолчал? – спросил Нуник. – Куда они прилетели? Что там дальше было?

Уайз опустил подушку и лег на спину, вытянув руки по швам. Прежде чем ответить, он поулыбался бетонным балкам.

– Я пока не почувствовал, что дальше, – проговорил он.

– А когда почувствуешь? Завтра почувствуешь? – спросил Нуник.

– Может быть, – серьезно ответил Уайз.

– Продолжение напрашивается, – хихикнул в темноте Пахрудин и получил шлепок от жены.

– Ва-а-й, – сонно завайкала Фатима.

Когда все звуки растворились в темноте, подвал погрузился в сон – тяжелый, беспокойный от пыли, забивающей дыхание, и тревоги. Если ночью не начнется, они проснутся утром, разбуженные не светом, и каждый постарается найти для себя занятие, лишь бы его не взяла и не приковала к себе намертво скука. Скука смертельно опасна для тех, кто ждет, – удлиняет минуты, не дает забыться, заставляет думать о том, что будет дальше.

Именно она овладела Пахрудином на третий день их переселения в подвал. Нетвердыми шагами, сопровождаемый протестами жены, он вышел из подвала, прошелся по двору, вернулся в подъезд и поднялся на пятый этаж в свою квартиру. Отпер дверь ключом. Споткнулся об упавший шкаф, двинулся дальше и, к великой своей радости, в спальне под кроватью нашел самодельный радиоприемник – там, где его всегда оставлял.

– Цел! – воскликнул Пахрудин.

Сказанное им слово подхватило странное эхо и долго мотало по комнате. Пахрудин вздрогнул. Он столько лет прожил в этой квартире, ему были знакомы все ее звуки – тихие и звонкие, длинные и короткие, мельчайшие, способные пролезть в ушко обостренного слуха слепого. Но не эти. Но не эти-и-и-и.

– Кто здесь?! – крикнул Пахрудин.

– Здесь? – спросили стены.

– Кто?!

– О-о-о! – прокатилось по четырем углам.

В лицо порхнул осенний лист, залетевший в окно. Почувствовав сухое прикосновение, Пахрудин испытал жгучий страх. Горло стянуло жгутом, и захотелось Пахрудину перенестись под спасительные балки подвала, в сырую безопасность подземелья, где не было страшного эха.

Его ли эта квартира? Тот ли это дом? Тот ли город? На той ли он планете? На месте ли теперь их подвал или Пахрудин невидящими своими шагами переступил границу чужой реальности? Где он? Где?

Пахрудин закричал, а эхо, упархивая к углам, распалось на тысячи сухих отголосков и, тысячами крыльев шелестя, метнулось в лицо. Он бежал из своей квартиры, чувствуя, как эхо несет за ним по пятам, он слышал за своей спиной тяжелые шаги опасности, ее сдавленное от быстрого бега дыхание, а квартира продолжала говорить незнакомыми ему звуками, гнать от себя прочь.

Пахрудин ворвался в подвал, принес с собой колебания звуков и ужас, который распространился быстро и надолго приковал слепых к их кроватям. Ни на следующий день, ни через день после этого никто не осмелился выйти из подвала наружу.

К вечеру Пахрудин наладил свой первый радиоконтакт из подвала.

– Ульяна Анна шесть, на приеме, – сказал в самодельный микрофон Пахрудин – голосом уверенным и хорошо поставленным.

– Павел центр Дмитрий, я вас принимаю, сигнал хороший, Евгений, Волгоград, – ответил ящик, и Фатима со своего места шумно выдохнула: «Вах-х...»

– Тоже хорошо принимаю, слышу великолепно, – ответил Пахрудин, и невозможно было поверить, что еще несколько часов назад он лежал на кровати, мелко сучил ногой и икал так, что казалось – еще чуть-чуть и Пахрудин вывернется наизнанку. – Павел, Анна, Харитон, Роман, Ульяна, Дмитрий, Иван, Николай, – продиктовал он ящику свое имя по чужим именам.

– Пахрудин, звук действительно великолепный, – ящик продолжал выдавать любезности. – Какой микрофон вы используете?

Пахрудин снял с головы тюбетейку, поднес к лицу и поймал в нее широкую улыбку.

– Микрофон – самодельный, – подавил улыбку, заважничал. – Я использовал корпус от заводского микрофона, когда-то по молодости в ансамбле играл, – он снова поднес к лицу тюбетейку, как будто боясь упустить хотя бы одну, пусть самую мелкую свою улыбку, – столько лет прошло, а микрофон сохранился... – Пахрудин повертел в пальцах микрофон: да, тот самый, из его молодости. – В него вмонтировал таблеточку от штамповки южно-корейского магнитофончика, ну и небольшой усилитель на катетере...

– А нужен ли к этой таблетке транзистор? – спросил ящик.

– Я вам схему могу продиктовать, – оживился Пахрудин. – Я немножко его частоты откорректировал при помощи входного конденсатора, но, честно говоря, и без этого силы хватало...

Пахрудин замолчал, подержал у глаз, забранных темными стеклами, тюбетейку, как будто внимательно разглядывая что-то на ее дне. Усмехнулся, и эту усмешку тут же словил, отправил туда, где уже хранились улыбки. Лицо его стало серьезным, щеки напряглись, губы вытянулись в нитку.

– А какая у вас погода? – напряженно спросил Пахрудин у ящика.

– Пасмурно, – ответил тот. – А у вас?

– У нас солнышко светит, – заторопился Пахрудин, – шпарит во всю, вот в солнечных очках ходим, прячемся от него. Неплохой денек, как говорится, выдался, и ничего сегодня не случится, можете быть спокойны, ничего не начнется, потому что солнце сегодня выглянуло из-за туч... Так продиктовать вам схему для микрофона?

Ящик зашипел, забулькал. Сквозь шорох помех из него неслись лишь обрывки фраз: «Холодно... Северный ветерок колючий... Очень сухо, но в такое время года... А вот говорят, скоро...».

Они сидели под землей и вслушивались в голос человека с другого конца света – в голос, из света попавший во тьму их подвала. Он задел невидимые струны в душах незрячих. Уайз сел на кровати, заламывая рыхлые пальцы. Дуся перестала стонать. Нуник стучал по полу тростью.

На другом краю света жил счастливый человек – из его крана текла вода, а в лампах желтело электричество. Человек не боялся выходить из дома – там, где он жил, никогда не начиналось. Человек даже не знал о том, какой он счастливый... Но слепые, запертые на дне города, о его счастье знали все.

Ближе к вечеру, во время четвертой молитвы, небо окрасилось в цвет резеды. Полетели соколы. Пахрудин поймал их на короткой волне. Уайз закопошился большим неловким пингвином, попавшим в ловушку скал. Прислушался к своим чувствам. Фатима, зажмурившись, стучала лбом об пол и так неистово призывала Аллаха, словно тот мог ответить ей из-под земли. Сверху он бы не отозвался – соколы ловили каждую молитву, маленькой птичкой летящую сквозь удушливо душистые заросли резеды, и она погибала в их клювах.

– Наладь радиокontakt с Богом, – мрачно посоветовал Пахрудину Нуник.

Запас муки вышел. Люда старалась не думать о том дне, когда и квартирные запасы будут опустошены. Рано или поздно это произойдет, только думами делу не поможешь.

Уже давно она не выходила за пределы двора. Каждый день бегала за ржавый гараж. Оттуда, сидя на корточках, созерцала окрестности. Виденное не внушало надежд на присут-

ствие в городе добрых людей. Смотрела на раскуроченные дома. В развалинах прятались противоборствующие стороны. Одернув юбку, Люда опрометью бежала к подъезду.

Галя замесила остатки муки. Присела у печки, положив на колени деревянную доску. Сверху – комок теста. Посыпала его мукой. Надавила стеклянной бутылкой, пошла – вперед, назад. Запыхла от напряжения, подула на выбившуюся седую прядь. Из-под бутылки выходил неровный круг. Галя провела по его краям пальцем – криво. Нет, ровно, как у Валентины, не выйдет. Галя с удвоенной силой навалилась на бутылку.

Люда подоткнула под щенков ватную телогрейку. Ее в последние годы носила не снимая бабушка.

– Схожу наверх. Поищу в квартирах еду.

– Люда, поднимись ко мне, прошу тебя, – прерывисто остановила ее Галя. – У меня на кухне в нижнем шкафу возле мойки – трехлитровая банка меда... Принеси ее – чай будем пить.

Нельзя сказать, что, мол, Галя не была трудолюбивой. Она часто брала на себя работу по хозяйству, сражалась с Валентиной за право печь лепешки, никому не уступала своей очереди. Лепешки получались у нее плохими – сырыми или, наоборот, пережаренными. Галя всегда волновалась, когда бралась за тесто, – ей хотелось, чтобы лепешки у нее вышли не хуже, чем у других. Валентина и Фатима вовсе не старались, но лепешки у них получались вкусными, особенно у Валентины. Муку брали из одного мешка, месили все той же водой, солили немного – простые ингредиенты. Но вот лепешки выходили разными, и даже не видя, кто их готовил, откусив, можно было определить стряпуху.

Бабушка у Люды была женщиной мудрой, и часто в ее слововороте попадались здоровые зерна, способные запасть в душу. После себя она не оставила внучке дорогих вещей или денег на сберкнижке, но зато душа Люды была усеяна теми зернами, которые дали высокие всходы. Вот так Люда и оформилась в человека – одно зернышко посажено и взросло, второе, третье. Например, однажды бабушка сказала, что все люди делятся на два типа – на ремесленников и мастеров. Первые хорошо делают свою работу, делают ее так, что не к чему придраться. Ремесленники *знают*, как надо делать. А вот мастера... Мастера другое дело – они не знают как; они *чувствуют* как. Разница между ними вроде не хитра, но ремесленнику не суждено сделаться мастером.

На всю жизнь Люда запомнила эти слова и с тех пор делила людей на два типа – мастеров и ремесленников. Валентина была мастером – она не старалась, а у нее получалось... Фатима была ремесленником, но и у нее тоже получались очень вкусные лепешки, только у Вали – вкусней.

А вот к какому типу отнести Галю? Галя не знала и не чувствовала как. Но зато она знала, что у нее – бельмо на глазу.

В прошлой жизни Галя вместе со всеми работала в цеху, вечерами выходила во двор – посидеть на скамейке. Всегда находилась рядом, но так повелось, что для соседей она была невидимкой. Странно – быть невидимкой для тех, кто не видит... У слепых были уши, а у Гали – голос и шмыгающие шаги. Галя нарочно шумела во время ходьбы. Она приучила себя шмыгать, шаркать и шуршать – у соседей есть слух и наверняка найдутся слова для одинокой бельмоглазой Галины.

Она даже радовалась тому, что ее соседи были слепы. Они не видели ее уродства, но могли расслышать ее красоту. Общаться со зрячими для Гали было невыносимо.

Только поселившись рядом с нею в подвале, Люда разгадала ее. Похожая на мышь Галя крапа сыр не для того, чтобы наестся. Все, что ей было нужно, – та самая чуточка внимания, которая ничего не стоит дающему. Ради этой чуточки Галя жила, но все ее старания делали ее еще незаметней.

Силы в Галиных руках хватило на три лепешки. Она отложила бутылку и сипло задышала.

Роза ласково погладила ее по седым волосам. Одна Роза жалела Галю. Полнорукая, с широкими запястьями и полными жалости глазами, Роза была мастерицей жалеть. Ее рот был полон слов-утешений, она накрывала ими слепую мать, как одеялом. Роза говорила торопливо, будто боялась, что ее прервут и она не успеет накинуть на человека покров жалости.

Шурша, Галя шмыгнула в свою норку и там грызла обиду.

– У нее в квартире мед, а она до сих пор молчала! – прогорланила Люда.

Шарк... Шарк... Люда тоже нарочно волочила ноги по полу – иногда ей нравилось упиваться свалившейся на нее тяжестью. Иногда, правда, было это в прошлой жизни, Люда нарочно искала поводов расплакаться. А муж говорил: такие, как она, жаждут возможности пострадать. При этом сам в изобилии предоставлял ей такие возможности. Впрочем, это – другая история. Тогда Люда не могла себе объяснить, зачем она часто плачет. Пожив в подвале, она поняла – слезы приносят облегчение. Но в подвале она никогда не плакала – сэкономила влагу... за счет облегчения.

Отодвинула ногой кирпич. Дверь поддалась с трудом – между нею и полом не было зазора. Дернула ручку и протиснулась в узкую полоску света. Зажмурилась – свет, идущий с улицы, был слабым, но глаза так привыкли к темноте, что у света хватило сил их порезать.

Пол устилала обвалившаяся штукатурка. Перешагивая битое стекло, Люда поднялась по лестнице на второй этаж. Провела рукой по стене – такая щербатая, слепые бы не узнали ее.

Третий этаж. Несколько секунд, несколько десятков шагов – вот такая малость отделяла подвал от ее квартиры. Но по ночам в подвале казалось, что квартира далеко, существует в другом измерении.

Запыхалась. Подъем на третий этаж сбил дыхание. В подвале была плохая вентиляция, носы с трудом вытягивали из воздуха кислород.

Люда собиралась толкнуть незапертую дверь, но что-то позвало ее. Она обернулась. Пролеты третьего и четвертого этажей больше не соединялись общей площадкой. Люда заглянула в дыру, оставшуюся на ее месте, – пустота манила.

Спешно перекрестилась. Крест не дотянул до пупа, вышел каким-то боязным, похожим на скрипичный ключ. Так она крестилась по привычке, оглядевшись по сторонам, второпях вдруг люди, молящиеся пять раз в день, прогонят и ее, как Чернуху. У этого города было свое вероисповедание, а бабушка привезла в него – свое. Люда боязно, всю жизнь несла это наследство. Больше всего она боялась – ее, крестящуюся, увидит Фатима.

Надо предупредить слепых, чтобы не ходили сюда, подумала Люда. Пустота может затянуть, хотя она, скорее, звучала, чем виделась.

Люда прислонилась к стене – послушать пустоту подъезда. Раньше из каждой двери неслись голоса и звуки, свидетельствующие о том, что жизнь в доме есть. Теперь квартиры наглухо заперли рты, подъезд безмолвствовал, только эхо повторяло за Людой все ее движения, углубляя их.

Еще раз перекрестилась – пустота подбодрила ее: никого в подъезде нет, никто не увидит. В этот раз крест вышел размашистым, отчетливым. Ну а раз никто не видит, Люда начала креститься – вот так стояла у дыры между этажами и клала на себя знамения. Сверху-вниз, справа-налево – три пальца щепоткой. Все, как бабушка учила.

Счастье, что квартира уцелела. Несчастье – картины убиты. Полжизни положила на них – выписывала «Огонек», ждала почтальона, вырезала репродукции, вставляла в рамку, любовалась. Пересматривала, перевешивала, дорожила. Дрожала над каждой.

– Это выше моих человеческих сил, – сообщила убитым картинам Люда, и ей ответили – эхо, какого она в своей квартире никогда не слышала.

– Это выше моих человеческих сил! – крикнула любопытства ради.

Эхо задребезжало по стенам, по углам. Ишь ты...

Квартира опустела до того, как Люда покинула ее. Пустота начала копиться после смерти матери. Умерла бабушка, пустоты стало больше. Появился муж, и Люда подумала, она прогнала пустоту. Но когда и он ушел, Люда поняла, что пустота никуда не исчезала, всегда была здесь, пряталась по укромным местам, не отдавалась эхом, но была. На роду ей, что ли, была написана пустота?

В комнате сквозило. Ветер здесь нагулялся вдоволь. Нанес из разбитого окна сухих листьев. Осени давно конец – пришла зима.

Люда прилегла на кровать – двуспальную. Она всегда спала слева и продолжала спать с этой стороны, когда муж ушел, – оставляла его территорию неприкосновенной. По середине кровати как будто проходила невидимая разделительная черта – такую муж проводил у всего, что принадлежало только ему. Пустота не оставляла надежды на его возвращение.

– А и шут с тобой.

Встала.

В углу что-то теплело, согревая глаза.

Подсолнухи.

– Живые...

Подняла, отерла рукавом пыль. Чихнула.

Закрестилась на подсолнухи.

– Тьфу! Шут меня попутал! – опустила щепотку, не дойдя до левого плеча.

Она вынула репродукцию из рамки, сложила ее вчетверо и положила в карман передника, пришивив его булавкой.

Пошла в кухню. Проходя по коридору, бросила взгляд в зеркало. Столько пыли. Пальцем нарисовала на его поверхности вопросительный знак – что будет? Стерла ладонью вопрос. Из открывшейся полоски на нее посмотрели глаза. Дернулась – не узнала. Глаза ввалились. В них тоже отражалась пустота. Чихнула. Пыль и пустота. На роду написанные.

– А чего не блесним непролитой слезой? – спросила глаза, шуткой прогоняя пустоту.

Подошла ближе. От уголков глаз до виска кожа пошла морщинами. Крема не помогут. Эти изменения уже навсегда. Было время, Люда ловила морщинки – самые мелкие, и справлялась с ними. Эти она упустила. Да на что ей красота? Ей – тридцатипятилетней, бездетной, вдове соломенной?

С порчей жилища можно было смириться. С порчей в самой себе – гораздо сложнее, но попытаться можно.

Дойдя до кухни, Люда впала в состояние, близкое к философскому, и вид вывороченной мойки, отбитой со стен плитки уже не тронул ее. Шкаф уцелел. Это главное – в шкафу еда.

Открыла кран. Трубы зашумели, отрывая пустоту.

В шкафу на полках лежали пакеты с вермишелью, рисом, мукой, сахаром и стояла бутылка рафинированного подсолнечного масла. «Раму» бы не забыть... Люда раскрыла холщовый мешок, сгребая в него пакеты.

Хруст.

– Чернуха! – визгнула Люда.

Прижав уши к голове, Чернуха станцевала задом.

– Возвращайся в подвал – кому говорю!

Дверь хлопнула.

– Что ж ты двери не запираешь? – раздался голос Марины.

Она вошла в кухню, неся на спине такой же мешок.

– Собирала продукты в нижних квартирах, – объяснила она. – Если будем экономить, месяца на два хватит.

– Наверх не ходи – там лестница обвалилась.

– Видела.

Люда наклонилась к шкафу.

– Где-то тут у меня была карамель...

– Пойдем, – позвала Марина, – в подвале начнут волноваться.

Люда выпрямилась, взвалила мешок на спину, и вот тут... Вот тут возле ее уха что-то прожужжало и звякнуло об остаточную кафельную плитку на стене.

Люда огляделась по сторонам.

– Стреляют! – крикнула Марина и бросилась на пол.

Люда растянулась рядом, забаррикадировавшись мешком с продуктами. Чернуха легла между ними, перевернулась на спину и засучила лапами.

– Лежи спокойно, – приказала Люда.

– Снайпер стреляет из соседнего дома.

– Какой еще снайпер?

Из разбитого окна была видна соседняя пятиэтажка, двор между нею и домом слепых был общим. Пятиэтажка разрушена с одного бока – снаряд прихватил последний этаж. Сидя за гаражом во дворе, Люда была уверена: в соседнем доме давно ни души.

– Какой снайпер?

– Откуда я знаю.

– Что ж он, читать не умеет? На углах же написано – «Дом слепых».

– На любом доме можно написать все что угодно... – проговорила из-за своего мешка

Марина.

– Может, пуля шальная? Залетела случайно...

– Ты слышала перестрелку?

– Нет.

– И я не слышала. Значит, снайпер.

Из окна больше не доносилось ни звука. Женщины лежали на кухонном полу. Чернуха встала, прогулялась в коридор, пошуршала мусором в комнате и вернулась.

– В подвале небось уже лепешки жарят, – сказала Люда и услышала, как усмехнулась Марина. – Долго еще тут валяться?

Марина – директор библиотеки. Люда – ее заместитель. Скажет Марина вставать, Люда встанет.

– Попробую встать...

Марина приподняла голову, села на четвереньки. Тихо...

Вот тут Люда и поняла, что ее парализовало, хотя лежа за мешком на кухонном полу она не чувствовала сильного страха. Она попыталась встать, но тело не слушалось, ноги онемели, по рукам ползли усыпляющие мурашки.

Марина выпрямилась. Тихо...

Дошла до окна. Выглянула – никого.

– Наверное, и правда шальная пуля. Пошли.

– Что-то к полу меня прибило – встать не могу, хоть клади в мешок и выноси...

С пола Марина напоминала Чернуху – такая же костистая, большеглазая и масти той же, что и собака. У нее не хватит сил взвалить Люду на плечо – переломится.

Марина наклонилась к ней. Ну, Чернуха, вылитая Чернуха.

– Хватит валять дурака...

Начальственный голос заставил Люду приподнять оживающий зад. Придерживаясь за спину Чернухи, она встала на дрожащие ноги.

– Коленки так и подгибаются, о-ой...

Сделала шаг.

– Чуть мешок не забыла. Ух, с перепугу какой тяжелый!

Дверная планка охнула.

Женщины рухнули на пол.

– Он в пятиэтажке! – крикнула Марина.

– Тварь такая! – не поскупилась Люда.

Один только раз в жизни она летала на самолете. Самолет попадал в воздушные ямы, и в Люде все бухало вниз и там замирало. Сейчас ей казалось, что она снова в яме, у которой нет дна. Ну почему она не осталась в подвале и не умерла с голоду там? Да что ей больше всех надо?

Чернуха снова приземлилась возле хозяйки и ткнулась задними лапами ей в живот.

Ни Люда, ни Марина не знали, сколько времени они пролежали на полу. Иногда казалось, что прошел уже час, но, как только собирались встать, – час сжимался до минуты, и они решали еще чуть-чуть подождать.

Время ощущалось по-разному – не размеренное, не постоянное. Наступил момент, когда им показалось, что время вовсе остановилось. Теперь оно держало двух женщин и собаку, застывшими на одном делении циферблата, на колющем острое робко подрагивающей стрелки сломавшихся часов. Они не двигались во времени ни вперед, ни назад. Время стояло, но шевелилось, накладывая пыльной кисточкой на лица женщин новые морщины.

– Дважды он не мог промахнуться. Может быть, он не хочет нас убивать? – спросила Марина.

– Не хочет убивать, а стреляет? Интересная у тебя логика! Светопреставление! Истинное светопреставление! Батюшки, да как же так?! – запричитала Люда.

– Да прекрати ты! – прикрикнула на нее Марина.

Почувяв что-то в голосах женщин, Чернуха сорвалась с места, бросилась к окну.

– Чернуха, ко мне! – позвала Люда.

Забравшись на подоконник, собака залаяла раскатисто, истерично, будто поливая кого-то сверху отборным собачьим матом.

– Ой, убьет он мою Чернуху... Ой, убьет...

Чернуха сбрендила – скакала по подоконнику, выла волком, лаяла так надсадно, что казалось – сейчас сдуется и умрет. Когда Чернухе надоело, она лениво спустилась вниз и снова растянулась между ними.

День поменял краски. То ли туча над городом нависла, то ли они действительно лежали тут очень долго. Сделалось пасмурно и подул ветер, принося новые листья и вороша старые. Марина приподнялась.

– Не могу больше лежать...

– Может, ползком?

– Хочешь – ползи. Я – встану.

Марина резво вскочила на ноги, словно кто-то сверху дернул ее за веревочки, и встала посреди кухни.

«Гордая выискалась, – обиженно подумала Люда. – Сама бледнющая, худющая, а по-прежнему хорохорится. Дева старая!»

– На, стреляй! – крикнула Марина, дернув себя за воротник.

Люда вздрогнула – выпусти снайпер третью пулю, сердце зашло бы так же, как от сухого женского крика.

Снайпер молчал.

«Может, целится? – думала Люда. – Поди в эту костлявую попади...»

Люда оперлась на ладони, выпрямилась, охая. Пусть не думает, что одна такая смелая.

Винтовка заговорила. Люда взвыла и побежала. Чернуха вернулась к окну и выпустила в него еще порцию лая.

На лестнице Люда оглянулась. Они бежали по ней втроем, перелетая через ступеньки – две женщины и собака.

Навалились на дверь. Поддали.

Запах плесени. Запах мышей. Родной запах перекисшей капусты.
Марина опустила на пол мешок.
– «Раму»-то я забыла, – сплюнула Люда.

Слепым ничего не сказали. Неизвестно какие формы мог принять снайпер в воображении людей, познающих мир через звуки и прикосновения. Из каких черт и деталей они слепили бы лицо снайпера и его винтовку. Здравый смысл подсказывал – скоро снайпер уйдет сам. Один вопрос грыз Люду больше всего – почему он не убил Чернуху, когда та лаяла на него из окна?

В подвале не испытывали ежеминутного бесконечного страха. Страх приходил накатами, когда начиналось. Когда кто-то из них выходил за водой, а они беспокойно ждали. Появление снайпера сделало страх постоянным. Люда заболела страхом, он ел ее поездом.

Кто этот человек? Что задумал? Чего от них хочет?

И ни одного ответа. И ни луча света из вентиляционного отверстия, ни луча надежды на возвращение к прежней жизни.

«Да разве ж много мне надо? – твердила про себя Люда, сжимая кулаки. – Да разве ж много?»

Эту фразу она говорила и раньше – лежа у себя в квартире по ночам, глядя в белеющий потолок. Ей нужна была самая малость, но и той не было. Самой малости и той не было... Видано ли дело, чтобы самой малой малости не было?!

– Люда, ты не знаешь, что наступает время молитвы? – прервала лихорадку ее мыслей Фатима.

Она вытряхивала коврик.

– Там холодно, Фатима, – попробовала протестовать Люда, чего раньше не делала. Протестовала она слабо, не надеясь на понимание, просто хотелось, чтобы до Фатимы дошло – нельзя выставлять на холод женщину и собаку.

– Выгони собаку на улицу, – вкрадчиво сказала Фатима. – Пусть уходит.

– Это – моя собака, – Люда говорила с хрипотцой, хрипотца говорила угрозой.

Страх уже принялся за ее голосовые связки, повис на них.

– Лучше б ребенка родила, – обрубил Фатима.

Люда нашарила ботинки, всунула в них раскисшие ноги, зашнуровала. Собрала из-под кровати щенков.

– Чернуха...

Куча тряпья пахла мышами. Люде показалось, что запах стал резче.

– Как же можно вот так – по самому больному? – застонала в сжатый кулак. Никто ее слез не услышит – еще чего. Фатима уколола в самое больное – в самый низ живота. Вот где жила пустота.

«Лучше б с ребенком гуляла» – эти слова, обращенные в спину, преследовали ее и в мирное время, когда она выходила на прогулку с Чернухой. До чего ж больно было...

Вернувшись домой, Люда снимала кофту и лифчик, поворачивалась спиной к трюмо и проверяла – не оставили ли слова ран между лопаток? Спина была чистой. Но отчего же так больно? Отчего?

Собаки – бабушкино наследство. Она заронила зерно в душу – приучала собак жалеть.

– Собака честней человека – никогда не предаст, – говорила она. – Собаке все равно, бедный ты или богатый, больной или здоровый. Она тебя не бросит.

Сбылись ее слова – Люду бросили все, она осталась одна. Только Чернуха не ушла, не предала. И Люда ее не предаст.

Вспомнилось, как возвращались они с кладбища – Люда и собака. Бабушка пережила мать – ту они хоронили вдвоем. А бабушку – уже Люда одна.

Было лето, и солнце безжалостно слепило глаза. Бабушку похоронили на кладбище для русских – на маленьком тихом пятачке в центре чужого города. Города, в который бабушка приехала около полувека назад и привезла с собой свою слепую дочь. От чего убежала бабушка – Люда так никогда и не узнала.

Оркестр играл похоронный марш. Насекомые жужжали в могильной траве. Жужжала и Люда.

Чернуха бегала между оград. А Люда все спрашивала: «На кого ж вы меня тут одну?»

Воздух был хороший – чудесный был воздух в тот день. Цветы растворили в нем свои запахи и пыльцу, а фруктовые деревья сбросили первоцвет, гнали его по легкому ветру, готовились родить фрукты. Люда чувствовала их предродовое состояние, не знакомое ей самой. И даже думалось: лучше бы бабушка умерла прошлой зимой или следующей. Ну зачем люди умирают летом, когда деревья собираются родить?

«Ну зачем ты умерла?» – голосила про себя Люда.

Дома ей снова было пусто. Вечером пришел муж. Пустота продолжилась.

Вон собака и та легко родит, по два раза в год, если не доглядишь. А Люда за десять лет – ни разу. Всю жизнь пустая ходила. Тоже бабушкино словечко – пустая... Лишь женщина, бесплодно пытающаяся стать матерью, может почувствовать всю глубину пустоты – лежа на ее дне или все еще летя в пропасть.

– Сколько сил... – Люда поерзала на куче тряпья.

Столько сил и столько надежд, особенно в первые годы замужества. В те годы Люда сходила с ума, но надеялась – все впереди, свет еще маячил: то приближался – на, хватай рукой, то отдалялся, отступая на шаг, один только шаг... Хорошо, не в этом месяце, так в следующем. Подождем, раз теперь огонек в руки не дается.

Вокруг нее рожали. Боже ты мой, в каких же количествах вокруг нее рожали... Женщины в этом городе только тем и занимались, что рожали. Выйдешь на улицу, и одни беременные животы. Животы, животы, животы... Коляски. Младенцы... Боже ты мой...

Беременные и матери с младенцами собирались на пути Люды со всего города. Шли ей навстречу, желая свести с ума. И она сходила – медленно, но сходила. Пустота становилась объемной, приобретала формы и звуки. Из своей первичной бесформенности лепила младенца и укладывала в руки Люды. А та прижимала к себе младенца и чувствовала пустоту...

Однажды ей приснился сон – низ ее живота раскрылся, и в нем она увидела песочные часы. Но отделений в них было не два, как обычно, а три. Третье, лишнее, находилось посередине. Оно было намного меньше тех, что по краям, походило на полую стеклянную бусину. И пересыпали часы не песок, а яйцеклетки – густо-застывшие капельки крови. Одна яйцеклетка медленно скатывалась из первого отделения во второе и задерживалась там ненадолго. К ней подплывали головастики – короткие, бесцветные, с длинными хвостами, миллионы головастиков, не замеченных Людой в начале сна. Они окружали яйцеклетку, задевали ее хвостами, но яйцеклетка уходила от них, скатывалась вниз, булькала в третье отделение, попадая на кладбище уже негодных, умерших яйцеклеток, которые могли стать младенцами, но не стали. Люда попыталась сосчитать, сколько их осталось в первом отделении, но на этом сон закончился. Она проснулась.

Проснувшись, посмотрела на пасмурный день за окном, хотящий своей тучностью продать стекло, и ее ударила мысль – сразу по обеим щекам. Мысль была такой: рождение ребенка – это стечение малых вероятностей, почти чудо!

Мысль была права и не зря была больно. Жизнь яйцеклетки коротка, головастиков – слишком много. Количество яйцеклеток в часах – ограничено. Рождение – это стечение малых вероятностей...

Люда приняла эту мысль. По-прежнему хотела, плакала, отчаивалась, надеялась, жила, ждала, ходила пустая. Засыпая и просыпаясь, утром и вечером, она спрашивала себя – почему?

Почему не может родить она – здоровая, сильная, жалостливая, добрая, мать от природы, от рождения.

Оказавшись в подвале, она перестала считать яйцеклетки. Ей было уже тридцать пять. Она ни о чем не жалела. Жизнь – слишком большая роскошь. Вот только чужие слова били ее так же больно, как мысль, пришедшая однажды поутру после сна о песочных часах.

– Сколько сил... – прошептала Люда, обнимая щенков.

Фатима отмолилась – можно возвращаться. Или самой помолиться-перекреститься, пока никто не видит? Как крестилась днем в подъезде, стоя у лестничной пропасти... Воспоминание о знамении зацепилось концом креста за окно соседнего дома. Снайпер! А может, потому и промахнулся, что видел в оптический прицел, как она крестилась?! Нет, не многожды положенный крест оттолкнул от нее пули... Снайпер сам был крещеным. Теперь в этом городе много крещеных... Только креста на них нет.

Туча повисла над городом – над тем, что от него осталось. Она пришла с востока и, прежде чем пролиться, как будто оглядела с высоты весь город, выбирая место стоянки. Темным брюхом навалилась на дом слепых, и из вентиляционных отверстий потянуло свежей влагой. Ветер мел по земле все, что ему удавалось поднять. Туча заурчала, небо треснуло фиолетовыми изломами. Первые капли плюхнулись на землю, не впитываясь в нее, а разбиваясь вдребезги. Потом дождь зарядил, собираясь на дне воронок, в рывтинах, продавленных гусеницами бронетехники.

– До-о-ждь, – простонал Пахрудин, и его голос был съеден урчанием тучи.

Вода сама пришла, за ней не придется идти на водокачку, и Пахрудин вздыхал, мысленно благословляя дождь и принесшую его тучу.

Незрячие выставили из вентиляционных отверстий металлические миски, набирали их полными и сливали в ведро. Туча не скупилась, наполняла миски так быстро, будто плескала в них воду из ковшика.

Пахрудин зачерпнул руками дождя, умыл глаза. Причмокнул губами воду, возвратившуюся с неба на землю – в своем вечном круговороте. Вода была живой, чистой, отфильтрованной тучей. Скупое солнце испаряло земляные лужи, пропускало их через ватные облачные слои, очищая от смерти, серы и бензина.

– Дождь... – повторил Пахрудин, закатывая к потолочным балкам невидящие глаза.

Раньше сильный дождь лишь уродовал не везде прикрытое асфальтом лицо города. Оно раскисало грязью липкой, непроходимой, засасывало трости. Ручьи бороздками текли по нему – полноводные, бурливые. Город терял красоту. Дождь смывал с него приметы для слепых. Сбивал их с пути, а они не могли нащупать стопами привычные маршруты. Запахи, поднятые дождем от земли, концентрировались во влажном воздухе, смешивались, манили не туда. Дождь незрячие предпочитали пережить дома. Теперь из подвала они благословляли его.

Дождь выбивал по земле дробь. Его барабанный марш пробуждал воспоминания – связанные и не связанные с дождем. Воспоминания влажные, укутанные сожалением о том, чему больше не повториться.

Например, вспоминался вечер, тронутый лучами заходящего солнца. Незрячие, возвращаясь со смены, солнца не видят, чувствуют его макушками, спешат ногами по знакомой дорожке – от цеха до дома. Собираются во дворе у кранта, который уже журчит, открытый Дусей, бьет струей в бетонную ванну, поднимает мыльную пену. Нуник, опираясь на трость, поднимается на пятый этаж, со скамей у подъезда им хорошо слышен гулкий стук его трости по ступеням. Слепые трут натруженные узелки пальцев, разминают их после монотонной работы с шурупами, клавишами выключателей. Они собирают выключатели, рифлеными подушечками пальцев щупают дырочки, проводки, резьбу на шурупах. Проверяют клавиши – включил, выключил; светло, темно. На выключатели спрос, с понедельника по пятницу слепые собирают

их сотнями. Они не знают, зачем маленькому городу столько света. Сами они живут без света, но не во тьме.

Нуник появляется из подъезда, припадая на трость. На плече – ремень аккордеона. Они слышат, как дышит мехами инструмент у Нуника за спиной. Нуник садится на скамью, вздыхает сам, вздыхает его аккордеон – глубоко, шумно – широкой диафрагмой мехов. Тогда инструмент был цел и кнопки в нем не западали – выскакивали наружу, едва Нуник снимал с них пальцы. Аккордеон выпускал здоровые, сильные звуки. Какими только интонациями он не говорил со слепыми... И в душе у них как будто расцветали подсолнухи, похожие на солнце. Аккордеон веселился, выплескивал задорные звуки, теребил подсолнухи, обрывал на них лепестки. И лепестки вырывались из слепых душ песнями, кружили желтым счастливым вихрем. Да им в этом городе, в этом дворе было неплохо. Хорошо им здесь было. Они жили коммуной людей, не ведающих света. Не чувствовали себя обделенными – в этом доме все они были одинаково лишенными света.

Дождь отбарабанил свой последний маршок, уронил мелкие капли в полные лужи и затих. Вылив всю влагу, туча иссякла, растворилась, освобождая небосклон для заходящего солнца. Оно прошествовало сверху вниз, желая поближе рассмотреть, что без него в городе наделала туча. Брызнуло закатными лучами, но на то, чтобы высушить город, у него не хватило ни сил, ни времени. Красноватый луч прорезал вентиляционное отверстие, щекотнул лоб Дуси, и та поднесла руку к лицу, словно могла почувствовать его прикосновение. Оторвала седую голову от подушки.

– Не волнуйся, мама. Это солнце садится, ночь наступает, – полным голосом проговорила Роза, и на этот раз не пропустив слабого движения матери.

Луч коснулся и ее чистого лба, спустился к глазам, забираясь глубоко в радужку, делая их похожими на голубые хрусталики. Пошел ниже – по широкому носу к мясистым губам, круглому подбородку. Надо же, она не потеряла румянца – Роза была в том возрасте, когда лишения не сразу отпечатываются на лице. В подвале изменению подверглось только ее дыхание – Роза начала глубже дышать, чтобы и в беспамятстве Дуся слышала – дочь рядом. Сидит на краю кровати, пытит самоваром – плотная, пышущая. Посапывает – мама, я здесь... здесь... здесь...

– Дочка, ты мне приснилась.

– Дуся, что ты говоришь? Слепым сны не снятся, – перебила Валя.

– Валя, – задребезжала Дуся в сторону жены Пахрудина, – я всю жизнь мечтала хоть одним глазком взглянуть на свою дочку. Сегодня она мне приснилась...

Дуся всегда повторяла, что мечтает увидеть дочку хоть раз. Пусть самый короткий разок. Она не свет мечтала увидеть, а дочку. Роза привыкла к этим словам, и мысль о том, что ее черты навсегда останутся для матери тайной, не колола ее. Она даже не гадала, какой мать ее представляет.

– Мама, у меня голубые глаза, – говорила она, но Дуся не умела представить цвет. – Цвета неба, – объясняла Роза, но ее мать была слепой от рождения.

Дуся чувствовала небо, когда оно нависало низкой тучей или поднималось высоким куполом. Дуся плохо спала, когда из окна светила луна. От лунного света в груди наматывался клубок беспокойства, прерывающий сон.

Дуся знала, что после дождя над городом повисает радуга. У Дусиной радуги не было ни формы, ни цвета. Но радуга имела вес и плотность, приседала в воздухе, утрамбовывала его и чуть давила на плечи. Плечи радостно зудели – с неба на Дусю опускалось радужное, дугой выгнутое чувство, весомое, плотное, и она ртом хватала воздух вокруг себя, чтобы попробовать его на вкус. С Дусиными губами не могли сравниться ни подушечки пальцев, ни зрячие глаза. Дуся целовала все вокруг – и воздух, и людей, и предметы. «Плохо» или «хорошо» – говорила

она. Вот зрячие ошибались часто – в плохом им виделось хорошее, или наоборот. Дусины губы не ошибались никогда.

– Дуся, посмотри ткань, хочу на платье купить. Хорошая?

Дуся оборачивалась на женский голос. Выключала крант, вытирала холодные руки о передник, брала в них отрез, вытягивала перед собой, приближала к нему лицо, обхватывала его кромку губами. На лице ее появлялось выражение, какое бывает, когда прислушиваешься к едва уловимому шепоту неразборчивых слов. Дуся уносилась в то измерение, где была проложена четкая грань между плохим и хорошим. Там не было места для среднего – либо хорошее, либо плохое, и никакой середины.

– Хорошая... – улыбалась Дуся.

За этой женщиной приходила другая, за другой – третья. Глаза им мешали оценить качество ткани. Дуся целовала все, что они приносили с собой.

– Валя, почему думаешь, что слепым сны не снятся? – спросил Уайз. – Я, например, вижу сны – красивые, заманчивые.

– Ты их видишь потому, что ослеп в два года, – назидательно проговорила Валя.

До начала в городе катастрофы они почти никогда не говорили о слепоте. Зрячие ведь тоже редко говорят о каком-то шестом, неведомом им чувстве.

– Тебе кажется, что ты ничего из того времени не помнишь, – продолжила она, – но твоя память держит виденные образы и посылает их в твой сон. Они приходят, и тебе кажется, что ты видишь то, чего никогда не видел. А на самом деле ты видишь то, что уже видел, пока не ослеп, просто забыл.

– Откуда ты это знаешь?

– Из медицинского журнала. В библиотеке брала.

– Пахрудин, тебе снятся сны? – спросил Нуник.

– Нет, – Пахрудин прикрыл рот рукой. – Я засыпаю, просыпаюсь, и мне кажется, что между вечером и утром прошла одна минута. Ночью со мной ничего не происходит, я ничего не чувствую по ночам. Закрыв глаза, открыл – и все, ночь прошла.

– И мне ничего не снится, – покачал головой Нуник, – но иногда я слышу во сне музыку, песни. Не свой аккордеон, а как будто стены звенят и поют разные песни. И как будто еще я знаю, что это стены комнаты, чувствую, как они меня окружают, совсем близко подходят.

– Ха, – хохотнул Пахрудин. – Слышали, у Нуника во сне стены поют!

– Не только стены, иногда поет стол или стул. Я просыпаюсь, хочу сыграть их мелодии на аккордеоне, но уже ничего не помню. Думаю, в другой раз запомню – когда спишь, музыка из сна звучит красиво, заманчиво, как говорит Уайз, и я повторяю ее про себя, напеваю, но утром, хоть тресни, ничего не помню. Давлю на клавиши, а пальцы не туда идут, и про себя музыку уже повторить не могу. Э-э-э... А видеть ничего не вижу, да я и не знаю, что это такое – видеть.

– Сны – не к добру, – отрезала Валя.

– А я вижу сны, – прошептала Галя.

– Почему не к добру? – спросил Нуник.

– Слышала я однажды, – нехотя начала Валентина, – будто бы слепые перед смертью прозревают, только видят они не глазами, а чем-то другим. Чем, не спрашивайте у меня, я не знаю.

– Вах! – Фатима нащупала на груди кожаный амулет, привезенный из Мекки. – Валя, что говоришь? Зачем говоришь? Думай, что говоришь! Глазами только можно смотреть. Зачем пугаешь, а?

– Ты столько молишься, Фатима, что тебя уже ничем не испугать, – повысила голос Валентина, и Пахрудин захихикал. – Они видят астральным зрением, я читала. Знаешь, что такое третий глаз? Он находится над переносицей, у некоторых людей он открывается и очень хорошо работает.

– Вах-х, – выдохнула Фатима и пугливо потеряла переносицу, как будто у нее в темноте мог незаметно открыться третий глаз.

– Но сначала слепым как будто начинают сниться сны, – продолжила Валя, – со всякими цветными картинками и видениями, я уж не знаю, еще с чем, сама не видела. Они видят людей и предметы, которых раньше знали только на ощупь. А через сны они и мир вокруг себя видеть начинают. Только длится это недолго. Не к добру эти сны...

Роза заскворчала, будто в самовар пару поддали.

...Ночь наступала. В вентиляционное отверстие вползла темь, коснулась лбов. Пахрудин махнул перед лицом, отгоняя ее, словно муху. Но она не уходила, только сгущалась, и, погрузившись в нее полностью, незрячие перестали чувствовать ее прикосновения.

– Не верю я ни в какой третий глаз, – заговорил из темноты Нуник, – нету его, – он тоже потрогал свою переносицу, – а если не глазами, то чем еще можно видеть? Не пальцами же, не спиной?

– Почему не спиной? – хохотнула Люда. – Вот я – зрячая, а все равно спиной чувствую взгляд, брошенный вслед... А уж слова... прямо хребтом чую...

Ей вспомнилось, как она сворачивала шею у трюмо, разглядывая спину.

– Это, Люда, дорогая моя, не зрение, – усмехнулась Валентина, – это – ощущение. В отличие от вас, оно у нас очень хорошо развито. Уж мы точно не пропустим ни одного взгляда. Мы, слепые, чувствуем его, как физическое прикосновение. Скажи, Пахрудин?

– Чувствуем, как будто пальцем в спину ткнули, – послушно отозвался муж.

– Это смотря какой взгляд, – поддержал Нуник, – иногда пройдет знакомый человек, руки не подаст, слова не скажет, думает, ты не знаешь, что это он идет, а потом еще обернется и так вслед посмотрит, как будто по спине тебя ударит... Э-э-э, с другой стороны, всякие люди попадают – плохие, хорошие... Только я все равно не пойму, как это можно спать и что-то видеть... Если днем не видишь, ночью будешь видеть, что ли? Сказок ты мне, Валя, на ночь не рассказывай. Не понимаю я этого...

– А и не надо тебе этого понимать, – мрачно заметила Валентина, зевнула, проглатывая большой кусок тьмы. – Не к добру это...

Она еще раз громко зевнула. Подвал затих и, казалось, будет молчать до утра. Но тут картаво заговорил Уайз:

– Сердцем слепые смотрят... Когда Эний попал на другую планету, он прозрел, как и обещал Гермийон.

Незрячие подобрались, приготовились слушать – наступило время рассказа.

Когда Эний попал на другую планету, он прозрел, как и обещал Гермийон.

Щебет в ушах постепенно смолк, в груди успокоилось. Зажмурившись, Эний пронесся сквозь миллионы вихрей, на огромной скорости – вертикально вверх, и теперь чувствовал под ногами твердь. Сколько времени прошло с тех пор, как он покинул землю? Пять минут? Десять? Или бесчисленное количество лет – световых или земных?

Воздух был наполнен влагой только что пролившейся тучи. Тонкие цветочные ароматы щекотали – густые, теплые. Незнакомые запахи обволакивали с ног до головы, пробегали по коже мурашками. Казалось, все вокруг вымочил ливень.

Что-то поднималось от земли, если так можно назвать ту твердь, с которой Эний соприкасался стопами. Что-то входило в него, через колени, живот, поднималось к груди. И когда это что-то достигло сердца, сердце закололо – Энию показалось, будто кто-то неслышно подошел к нему и кольнул в грудь острым копьем. Эний схватился за сердце и закричал от боли. Он услышал, как вместе с ним кричат девять других. Точка в сердце, появившаяся на месте прокола, засипела, забулькала, причмокнула краями полрой раны, втянула воздух, напоенный ливнем. Сердце загудело, твердь ответила таким же гудом.

Эний упал на колени, закричал, убитый копьем, но не умерший и не рожденный заново. Вместе с ним закричали другие.

– Оглянитесь вокруг, – донесся голос Гермiona.

Голос изменился – на этой планете он звучал чисто и протяжно, звенел хрустальным ручьем.

Точка в сердце дернулась. Чмокнув, слепила рваные края и вновь их разлепила с душе-раздирающей болью. Эний широко распахнул глаза, и тогда это случилось – на него нахлынуло, полилось со всех сторон. Его сны окружили его, видения из них навалились тяжелой осязаемостью. Это было новое чувство – пятое, добавленное к тем четырем, что были даны ему при рождении. И Эний увидел свои руки, ноги и испугался этого не нужного ему прозрения, как испугался бы зрячий, когда его глаза начали бы видеть предметы и тела насквозь.

– Теперь это ваш дом, – прожурчал Гермion.

Сердце успокоилось, лишь гудело негромко, как если бы в нем поселилась одинокая пчела.

Эний потрогал глаза.

Вокруг – поляна, окаймленная желтыми цветами на высоких стеблях. Воздух на ней колебался, но то был не ветер – ветер рвется в одном направлении. Воздух шевелился так, будто поляна дышала – втягивала прохладу, а выпускала нагретые струи. Над поляной текло прозрачное небо, состоящее из миллиардов светящихся точек, точки двигались, перемещались с места на место, лепя мозаику серебристых узоров. Желтые лепестки, сорвавшись с круглых головок, плавно уходили вниз – поляна делала вдох – и поднимались на горячих струях вверх – выдох. Лепестки кружили, гулькали человеческими голосами, складывались в песнь.

– Это не сон.

Эний наконец увидел Гермiona – почти великана в черном пиджаке и черной широкополой шляпе.

Гермion смотрел на детей широко распахнутыми голубыми глазами. Из-под полей шляпы выбивались завитки волос. Выдающийся нос блестел, верхняя губа была прихлопнута нижней – пухлой, словно ужаленной пчелой. Оттого лицо его казалось обиженным, надутым, но твердый подбородок делал свое дело – не каждый осмелится обидеть такого человека, как Гермion.

Эний увидел и девять других. Они были похожи. Да что там говорить! Они были неотличимы друг от друга. Да и сам Эний смотрелся в них, словно в зеркало.

Они пошли за Гермионом по тучной земле, жирной насекомыми. Стопы утопали в пышном шалфее с серебристым подбоем, пастушьей сумке, резеде. Двигались лугами, мимо рыжих коров и курчавых овец. Пахло травой и навозом. Над головой бесшумно пролетали крупные птицы – соколы, ястребы или орлы. Шли тропинками, наступая в следы Гермiona, ведущего их вперед прыгающей походкой. Его широкополая шляпа отбрасывала тень вокруг него.

– Я не вижу домов, – окликнул его Эний и запнулся: «не вижу» сказал он вместо того, чтобы произнести, как обычно, – «не слышу», «не чувствую». Как быстро принял он это пятое, непрощенное чувство, еще не успев понять – благо оно для него или зло.

– Скоро мы войдем в город, – ответил Гермion, и его слова разнеслись по всей цепочке.

Они больше не переговаривались между собой. Эний про себя удивлялся: почему девять других все время молчат? Может, немые, подумал он, но вспомнил, как они голосили, улета с земли. Когда это было? Только что или сто миллионов лет назад? Он прислушивался к своему сердцу, которое так и не перестало жужжать. Когда-нибудь оно замолчит?

По небу вдруг покати́лся раскаленный шар, разгоняя точки, расплескивая на них, словно краску, свою густую красноту.

– Солнце садится! – крикнул Гермion. – Поспешим!

И они поспешили по густой траве, но не успели пройти несколько метров, как солнце укатилось туда, откуда его было не видно. Наступила плотная тьма, сотканная из мелких кусочков бархата, которые можно было пощупать. Эний решил, он снова ослеп – только что данное чувство было отнято у него, раскаленный шар прижег глаза слепотой. Или все виденное было сном, и он никуда не улетал – продолжает спать в интернате для незрячих детей? А солнце над землей окончательно погасло, и тьма проглотила бетонную коробку интерната и проходящую мимо него трассу?

Пчела замолчала. Эний трогал тьму. Он собрал ее в комок и слепил из нее черную шляпу. Надел шляпу на голову. Гермион обернулся и рассмеялся.

Еле слышная, проснулась пчела. Солнце укатило на запад, но теперь столб розового света поднимался на востоке и разбрасывал на далекие расстояния бледные пятна. Шар овальный, чуть заостренный в нижнем конце выпрыгнул из-за земли и повис на середине неба, легкий, как воздушный шарик. К Энию вернулось зрение, пчела в нем запела новую песню, и в розоватом свете он увидел долину, а в ней – низкие строения, окруженные невысокими деревьями. До захода первого солнца воздух был соткан из прозрачных серебристых точек, теперь, после восхода второго, он стал розоватым с перламутровым отливом.

– Я вам говорил, что над нашей планетой встают два солнца, – пояснил Гермион. – Сутки здесь состоят из тридцати шести часов. Двенадцать часов светит красное солнце, еще двенадцать – розовое, а потом наступает ночь, без луны.

Они приближались к городу и уже могли разглядеть его во всех подробностях. Одноэтажные деревянные дома, над их черепичными крышами – седые завитушки дыма. Солнце подсвечивало розовым окна домов. В этом городе не было высоких строений, собранных из стекла и металла. Его не пронизывали электрические столбы, а небо не прорезали натянутые на них провода. Город раскинулся широко, но в нем не было ничего фантастического, одно строение походило на другое, и все их можно было принять за сельские дома, не будь город таким большим.

Издалека Эний разглядел небольших человечков, идущих по не асфальтированным дорогам. Мужчины носили такие же широкополые шляпы, как Гермион.

– Как называется эта планета? – спросил Эний и услышал, как хором с ним говорят девять других.

– Земля... – помолчав, откликнулся Гермион.

Стоя на пригорке, он смотрел из-под полей шляпы на долину – ласково проводил по ней взглядом, гладил ее дома, деревья, цветы и людей, приветствуя после разлуки. Отблески второго солнца розовели на его носу, успокаивали мрачность его одежды. Гермион протянул к долине руки. Казалось, какие-то вихрящиеся теплые потоки исходят от кончиков его пальцев, струятся до самой долины, и долина улыбается ему в ответ. От этой ее улыбки точка в сердце Эния снова запела, и, прикрывая глаза, Эний поднялся в воздух, сел на струи из пальцев Гермиона и покатился в зеленую мякоть улыбки, как по гладким перилам лестницы интерната, и было ему хорошо, легко и даже весело. Эний открыл глаза – он никуда не катился, а по-прежнему стоял рядом с Гермионом на пригорке. Эний намотал на пальцы волосы у висков, они заструились у щек такими же локонами, как у Гермиона.

– Поспешим, – сказал Гермион. – Нас ждет Великий Раб.

Уайз замолчал. Все ждали продолжения, но по его учащенному дыханию поняли – на сегодня рассказ закончен.

– Уайз, честное слово, с каждым разом твои рассказы становятся все короче, – заворчал Нуник.

– Правильно, – встрепнулся Пахрудин. – Говори сейчас, какой такой Великий Раб ждал Эния. У них там что, на другой планете, до сих пор рабовладельческий строй?

Уайз улыбался – мягко, как только что в его рассказе улыбалась долина. Жмурясь, он смотрел в темноту, всплескивал пухлыми руками, опускал их на одеяло, и растопыренные его пальцы порхали, словно объевшиеся, отяжелевшие от хлебных крошек птицы.

– Мне тяжело представлять места, в которых сам я никогда не был. – Уайз вытянул губы трубочкой, тем самым округляя слова и как будто прося прощения. – Я пока и сам не знаю, что это за Великий Раб. Когда узнаю, расскажу... – Он пожмурился в темноту.

– Выходит, у них на планете все, как у нас? – спросила Валентина.

– Слыхали?! Как у нас?! – в темноте Пахрудин изобразил руками изогнутую фигуру, и будь у него в руках кисточка, мог бы нарисовать на черном фоне темноты сложную художественную абстракцию. – У них там в тысячу, в миллион, в сто миллионов раз лучше, чем у нас! У них два солнца, а у нас – ни одного! – Пахрудин стянул с головы тубетейку и положил ее под подушку. Голосом он говорил злым и раздраженным, и все, включая Валентину, знали, что в такие моменты с ним лучше не связываться.

Раздражался Пахрудин без видимых причин, как, впрочем, и смеялся в самые неподходящие моменты. Когда на него напал приступ злобы, что случалось нечасто, он сидел, нахолодившись, издавая вибрирующие звуки. Его раздражение быстро доходило до точки кипения, и в горле Пахрудина начинало kloкотать – словно в нем закипала вода. Он вдруг и по-петушиному вскрикивал – сухо, неприятно, а потом начинал смеяться. Приступы смеха длились недолго – всего минуту или две.

И сейчас чувствовалось, что Пахрудин закипает, будто сидит не на кровати, а на горячей конфорке.

– Если ты, Пахрудин, не видишь солнца, это не значит, что его нет, – заметила Марина.

Ей было лень разлеплять уже склеенные сном губы, но не хотелось, чтобы Пахрудин, взорвавшись, кого-то обжег.

Пахрудин глубоко затаился темнотой и сухо по-петушиному вскрикнул:

– Можно подумать, ты много этого солнца видишь!

Посидел, подумал, поскрипел сеткой кровати. Фыркнул. Вынул тубетейку из-под подушки, фыркнул в нее еще раз и негромко рассмеялся, похоронив свое раздражение на дне круглой шапочки.

Валентина приподнялась. Кровать ойкнула. Раздался шлепок.

– Спи! – приказала она.

Пахрудин послушно улегся, скрестив на груди руки.

– Руки так не держи! – снова прикрикнула Валентина, будто могла видеть, какую позу принял ее муж. – Сколько раз говорила, не лежи, как покойник! Не к добру!

Пахрудин резко вытянул руки по швам, и тогда подвал наконец замолчал, уходя в сон до утра.

Люда проснулась разбитая, во сне у нее мерзли ноги. Ночью Чернуха скулила, мешала спать, и когда Фатима недовольно заухала, Люда поднялась и вывела собаку в другой отсек.

Ноги за ночь распухли, не втискивались в жесткие ботинки. Люда сняла уже достаточно грязные шерстяные носки и надела ботинки на босу ногу. Жесткая кожа вгрызлась в голые пятки, сдавила пальцы, больше всего досталось маленькому, беззащитному мизинцу.

Прибежала Чернуха, ткнулась носом в колени, засопела, задергала хвостом. Люда почесала ей за ушами. Чернуха повалилась на спину и засучила лапами, напоминая цирковую собаку, обученную крутить педали велосипеда.

– Иди под кровать! – приказала Люда. – В другой раз будешь знать, как быть по ночам.

Она вынула из-под подушки сложенную вчетверо репродукцию «Подсолнухов», раскрыла ее. Потерла тяжелые после сна веки, выбирая из ресниц ночные заскорузлости. Венти-

ляционное отверстие слабо отбрасывало на земляной пол квадрат короткого ленивого света, не имеющего амбиций пойти далеко, дотянуться до углов и четко осветить черты собравшихся.

Чайник сипел на дымящей печке. Незрячие уже проснулись, и в сером свете все они казались прозрачными, едва заметными – поседевшими от пыли. Не людьми, а тенями жильцов дома, которые по-прежнему живут в своих квартирах на разных этажах.

Люда гладила репродукцию, и подсолнухи нагревали бугорки ее ладони. Единственное яркое пятно... Сначала Люда хотела повесить ее на стену, но передумала – незрячие не увидят, а сырая стена убьет цветы, как избыток влаги убивает горшочные.

Лохматые головки, змеистые стебли, резкие изломы лепестков... Подсолнухи напоминали лохматых рыжих мальчишек – сыновей, которые могли бы родиться из ее яйцеклеток. Рыжих, непослушных, растрепавшихся во время игры во дворе – там, где дорожка ведет в цех, где под кронами абрикосовых деревьев гуляет ветер и где, горлая, бегают дворовые пацаны. Из раскрытого окна до Люды доносились их голоса.

Подсолнухи тянулись к ней и тоже смотрели на нее карими зрачками головок – выпуклыми, удивленными. Цветы, написанные неприкайным голландцем, не были зачаты в семечке, не выросли из тонкого стебля, а сразу вот такими взрослыми вылезли из влажного темного материнства земли. Пробились на поверхность, взъерошив лепестки, удивившись яркому солнцу. Изломанные, поникшие, неприкайные, как ее не рожденные мальчишки.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.